


Валентин Тублин

**ДО  
КАЗА  
ТЕЛЬ  
СТВА**

 ЛИМБУС ПРЕСС

Валентин Тублин  
**Доказательства**

«Издательство К.Тублина»

2020

**Тублин В. С.**

Доказательства / В. С. Тублин — «Издательство К.Тублина»,  
2020

ISBN 978-5-8370-0763-7

«Сначала он пел так: я птицелов, я птицелов, всегда я весел и здоров. Затем он решил несколько изменить слова, и получилось: я птицелов, я птицелов, я бодр, и весел, и здоров. И тут он представил себя птицеловом – клетка в руках и силки. А в силках бьется беспомощная птица, которой едва ли до песен. Какой-то элемент преднамеренной жестокости проглядывал здесь, и, чтобы смягчить его, он снова изменил и спел так: я старый добрый, – именно старый и добрый, – этими словами элемент преднамеренной жестокости если не уничтожался совсем, то в значительной степени смягчался, – я старый добрый птицелов, и всяк вокруг меня здоров... И все то время, пока он пел то на один манер, то на другой, он продолжал топтаться на месте, и остановился только тогда, когда на зеленом дерне вытоптал – как он того и хотел – две маленькие черные площадки. Только тогда он перестал топтаться и петь и огляделся...»

ISBN 978-5-8370-0763-7

© Тублин В. С., 2020

© Издательство К.Тублина, 2020

# Содержание

Доказательства	6
Конец ознакомительного фрагмента.	31

# **Валентин Тублин**

## **Доказательства**

© В. Тублин, 2020

© Лимбус Пресс, макет, 2020

© А. Веселов, оформление, 2020

## Доказательства

*Сначала он пел так: я птицелов, я птицелов, всегда я весел и здоров. Затем он решил несколько изменить слова, и получилось: я птицелов, я птицелов, я бодр, и весел, и здоров. И тут он представил себя птицеловом – клетка в руках и силки. А в силках бьется беспомощная птица, которой едва ли до песен. Какой-то элемент преднамеренной жестокости проглядывал здесь, и, чтобы смягчить его, он снова изменил и спел так: я старый добрый, – именно старый и добрый, – этими словами элемент преднамеренной жестокости если не уничтожился совсем, то в значительной степени смягчался, – я старый добрый птицелов, и всяк вокруг меня здоров... И все то время, пока он пел то на один манер, то на другой, он продолжал топтаться на месте, и остановился только тогда, когда на зеленом дерне вытоптал – как он того и хотел – две маленькие черные площадки. Только тогда он перестал топтаться и петь и огляделся...*

### 1

На зеленой траве стояли они, на зеленой траве под синим утренним небом, трава была густой и влажной, роса еще не высохла, солнце поднималось слева, откуда время от времени налетал ветер. Ветер прилетал издалека, он скользил по траве, шевелил листки протоколов, он взвивался к небесам, синим и спокойным, транспаранты надувались, как паруса каравелл, они хотели унести след за ветром – но того уже не было, он умчался дальше, и снова повисали флаги; на транспарантах на двух языках – русском и английском – было написано: «Привет участникам международных состязаний». Участники состязаний стояли на влажной зеленой траве и смотрели вслед ветру – он будоражил воображение, он был наполнен тревогой предстоящих боев. Им предстояло участие в первенстве мира, их было много, мест было всего три, трое мужчин должны были отправиться далеко, в заморские края, в Америку, куда давным-давно надутые другим ветром паруса каравелл принесли Колумба, – не туда ли проторенным путем унесся ветер...

*Объявляется пятиминутная готовность!*

Ветер унесся, флаги повисли, но волнение осталось. Все волновались, все – с его места на двенадцатом щите, прямо посередине общей линии было особенно хорошо видна, что творилось вокруг, слева и справа, но первое, что он увидел, был Феликс. Феликс Крее, Феликс Освальдович Крее, главный судья международных соревнований, судья международной категории. Конечно, никто и не подумал бы назвать его сейчас просто Феликсом: он был велик и недоступен, замкнут и отрешен, словно Великий Инквизитор; он совершал свой путь вдоль линии стрельбы, передвигаясь отчужденно и прямо, наметанный взгляд его в последний раз проверял, все ли было в порядке, все ли было в соответствии с международными требованиями; он был непохож на веселого, смешливого Феликса иных дней, и его замкнутость и отрешенность едва ли не больше всего другого показывали степень волнения, раз даже Феликс мог измениться настолько, что стал похожим на Великого Инквизитора, – так на кого же стали похожи все остальные, все мы, и на кого стал похож он, Сычев.

Потому что Феликс...

Потому что в обычное время Феликс – это само радушие, ты сидишь у него в кабинете, он занят, как всегда, ты ждешь, пока он освободится, и смотришь в окно; окно выходит на залив, и ты видишь выкованное из серебра пространство, среди которого неожиданно, всегда неожиданно, возникает вдруг и вновь исчезает, словно забытое и вернувшееся на миг воспоминание, что-то трогательное – то ли крыло чайки, то ли далекий парус.

Или ты приходишь к нему домой; маленький деревянный домик стоит в гуще старого парка: он живет на улице Лейнери; перед домом у него цветы, и во дворе – тоже цветы, в домике – стерильная чистота и, конечно же, цветы, только что срезанные цветы в толстом глиняном кувшине, радушие и покой. Ты пьешь кофе со сливками, сливки в серебряном сливочнике. Не пойти ли нам сегодня в «Варьете»?

И вы идете в «Варьете».

Или ты идешь с ним по Старому городу. Старый город у тебя под ногами, слева и справа, узкие улочки вымощены тесаным камнем, серые стены башен сложены из камня; крепость, что высится над городом, тоже из камня. Ты был в этом городе десятки раз, – что здесь осталось такого, чего бы ты не видел? Но ты с Феликсом, и он ведет тебя куда-то, куда ты сам не пошел бы; он здесь родился и прожил сорок лет, и у него всегда есть что показать тебе, даже если ты здесь в сотый раз и в двухсотый тоже.

Или вы – уже вдвоем, потому что с вами Ингрид, – ты, Феликс и Ингрид. Вечер, темно, зажигаются фонари, вы сидите в кафе, одном из бесчисленных кафе, скажем – в «Пегасе». Тающие во рту булочки высятся горой, на пяточке размером с тетрадный лист – фортепьяно, ударник и саксофон играют весь вечер чистые и грустные мелодии, и ты видишь, как теплеют серые глаза Ингрид. Феликс поправляет свой галстук бабочкой. Теперь он не похож уже на главного инженера завода «Терас», кто может догадаться о его профессии инженера-механика? Быть может, он кондотьер, или он дипломат, вернувшийся из заморских далеких стран, а может быть, и кафе это, чуть подсвеченное скрытыми огнями, не кафе вовсе, а корабль, плот, ковчег, и вот он плывет себе и плывет меж серых каменных домов в далекую и таинственную страну – и нет ничего вокруг, только грустная мелодия, что выводит саксофон, только темные черепичные крыши, только серые глаза Ингрид...

Так было – недавно и давно, так, возможно, будет, но не теперь, не сейчас, сейчас всего этого нет, как не было, а если и было – то в другом измерении и другой жизни. Неужели все изменилось, трава и ветер, ветер и солнце, – что причиной? Оглянись, сказал себе Сычев, неужели вокруг то же самое?

То же самое. Ветер, солнце и зеленая трава, и люди, которых он знал не первый год, впрочем здесь все знали друг друга не первый год, звезды мирового спорта; они знали друг друга задолго до того, как познакомились, их было не так уж много, в Европе и Азии, Африке и даже в Австралии. Их было так немного, что они знали друг друга по именам, поздравляли с Новым годом, обменивались подарками... И все-таки они менялись в тот самый момент, когда раздавался свисток – *объявляется пятиминутная готовность* – и в этот самый момент они менялись, и Феликс становился похожим на Великого Инквизитора, и рука сжимала рукоятку «марксмана» или «ягуара», «хойта» или «черной вдовы»; Мариан Парульский все снимал и натягивал на самые уши свой всему миру известный потертый зеленый картуз; маленький Бужо, чемпион Франции, свирепо вдыхал и выдыхал воздух, косясь налево, где длинный и рыжий Мэтьюз, чемпион Великобритании, втирал в тетиву воск; так, может быть, поступал и его предок при Азенкуре или Кресси, а может быть, и при Пуатье. В таком случае прогресс был налицо; налицо было облагораживающее веяние нового времени: вековые враги с луками в руках стояли теперь не друг против друга, а плечом к плечу, англичанин рядом с французом и монгол возле русского. Газеты писали: *спорт сближает сердца*. Вероятно, это было правильно, жаль только, что генералы не увлекаются спортом. Хорошо бы генералам состязаться в беге и метании копья, адмиралам – в плавании; хорошо, если бы единственным оружием на земле остались луки и стрелы. Луки и стрелы стоили совсем не мало, но, конечно, много меньше, чем танки и подводные лодки, не говоря уж о бомбах, простых и атомных. Вопрос о разоружении стал бы много проще. Каждый из них мог бы стать по праву генералом, и уж между собой они как-нибудь договорились бы. Но все это были мечты, эмпиреи, пока что генералы прочно сидели на своих местах, орудия массового уничтожения успешно совершенство-

вались, над этим работали лучшие умы человечества, дипломаты проводили свои совещания в обстановке полнейшей секретности, напалм прожигал человека насквозь, шариковые бомбы разносили его в клочья. Лук и стрелы были игрушкой, анахронизмом, странной причудой, и сами они были чудачками: удивительно было, что им пришлось в голову заниматься стрельбой из лука, еще удивительней было то, что, занимаясь этим, они проделывали все это всерьез. И уж вовсе непостижимым было их волнение, – ведь причин для волнений не было, дипломатические недоразумения были абсолютно исключены и денег за это они не получали.

И все же они волновались, даже великий Остапчук, шестое место в мире, второе в Европе; он хмуро поигрывал литыми плечами и слишком уж тщательно втирал тальк в рукоять своего «хорна». И уж на что невозмутим был О. Финкелынтейн (сборная Советского Союза), и он, сидя, как обычно, до самой последней секунды на скамье в нейтральной (пять метров от линии стрельбы) полосе и ловко орудуя спицами, на этот раз без конца шевелил губами, пересчитывая петли, и вот уже который раз начинал сначала.

Ну а он, Сычев? Выходило, что он только один и не волнуется, один среди звезд, ведь он тоже был звездой, не первой, конечно, и не второй величины, и даже не третьей, он был «одним из лучших» – так это говорится, – но вовсе не лучшим, он был звездой из туманности, он составлял Млечный Путь. Он был неразличим на общем фоне – может быть, поэтому он не волновался, потому что ни сам он, ни его волнение не были никому заметны, интересны, он был звездой десятой величины – средняя середина, в звездных каталогах Европы и мира он не значился – действительно, с чего бы ему волноваться... Тут губы его дрогнули и предательски скривились.

Да, ему нечего было волноваться. Выиграть он не мог, проигрывать ему было нечего. За десять лет если он к чему и привык, то это к проигрышам, тут он мог поспорить с любым. Тут он стоил не двух, а шести небитых; единственное, что ему оставалось, – это терпение, и похоже, оно у него было безграничным. Иногда оно даже вознаграждалось, его терпение, судьба была слепа, и время от времени удавалось примоститься где-нибудь на третьей ступеньке пьедестала; но это бывало так редко, что и вспоминать не стоило; здесь же, в этой компании, ему ничего не светило. И даже надеяться ему было не на что, это было элементарно, это было ясно хоть дураку, хоть умному, хоть трезвому, хоть пьяному, а он, на свою беду, не пил вовсе.

Так говорил он сам с собой, так убеждал себя, убеждал и успокаивался. И это так понятно. Мы редко позволяем себе признаться в истинных мотивах, которые движут нами, если эти мотивы почему-либо представляются нам сомнительными. Вместо этого мы принимаем успокоительные таблетки собственного изготовления. Мы наводим тень на плетень и бормочем что-то о недозревшем винограде. Ну и Сычев туда же – он, оказывается, и не собирался блеснуть чем-нибудь на этих соревнованиях, ему главное было – принять участие, а если так, если просто участвовать – чего волноваться.

Вот только губы у него дрожали...

Но тут Феликс, Феликс Крее, некогда старый друг, а ныне судья и Великий Инквизитор, добрался наконец до полосы, отделявшей женский сектор от мужского. И в то время как правая рука его с мегафоном медленно поднималась ко рту, он успел бросить быстрый взгляд влево – туда, где стояла Ингрид; но напрасен был этот взгляд, он был безответным, Ингрид стояла совсем рядом, но не видела его, она смотрела перед собой, прикусив нижнюю губу, и не видела ничего. Тогда он повернулся, приложил мегафон к губам, и над полем пронесся металлический голос: «Внимание!»

Тут Сычев почувствовал, как мелкая дрожь побежала у него по телу, от шеи к ногам. Левая рука его, державшая лук, вспотела, и рукоятка сразу стала скользкой. «Тальк, надо взять тальк», – подумал он, но как-то бессильно подумал, мысль эта появилась на обочине сознания, сознание было ленивое, чужое, не его. Его была потная ладонь, скользившая по рукоятке, и ему был нужен тальк, но словно сон овладел им, словно столбняк. «Тальк», – еще раз подумал



он; затем эта мысль лениво, как пьяница в жаркий день, пробрела мимо и скрылась из виду, а он вознесся вдруг над землей и увидел эту всю картину сверху: огромное зеленое поле и две неподвижные линии. Одна линия – линия мишеней – была прямая, отчетливо видны были и щиты и сами мишени с огромными разноцветными кругами, другая линия была изломанной. Это были стрелки, мужчины и женщины; мужчины стояли за девяносто метров от мишеней, женщины – за семьдесят, посередине был излом; и вот в этом-то изломе и стоял Феликс Крее, который сверху был похож на смешное насекомое с вытянутым хоботком.

«Внимание! – кричал металлический голос с эстонским акцентом, и пустые трибуны послушно повторили это за ним. – Внимание!.. Первая зачетная серия... стреляют индексы „А“ и „Б“...»

И тонкий пронзительный звук свистка ножом отрезал прошлое от настоящего. У каждого из них, у каждого из тех, кто стоял сейчас на линии, были в прошлом, до этого свистка, свои дела и свои заботы, разные дела и разные заботы; в настоящем, которое началось сразу вслед за свистком, ничего этого уже не было. Теперь у них в ближайшие четыре дня было только одно – двести восемьдесят восемь стрел, по тридцать шесть стрел на каждой дистанции, двенадцать серий по три стрелы на девяносто метров, столько же – на семьдесят (тут закончится первый день); тридцать шесть стрел на пятьдесят метров и столько же – на тридцать (тут закончится второй день и первый круг); в третий день – снова девяносто и семьдесят, а в четвертый – опять пятьдесят и тридцать, всем осточертевшее упражнение, двойной международный круг ФИТА. И из всех этих двухсот восьмидесяти восьми стрел всегда запоминаются только две; самая первая стрела первой серии на девяносто метров и самая последняя на тридцатке, что, впрочем, и понятно, ибо с ними связаны начало и конец ваших надежд.

Эта минута... Даже ветер стих, словно из любопытства. И было тихо кругом... так тихо. Сейчас надо было сделать как раз тот самый первый выстрел, вот отчего стояла такая тишина. Они стояли молча, собирая вместе умение и нервы; за этим первым выстрелом стояли тысячи часов тренировок – долгие часы, дождь и жара, стертые в кровь пальцы, незримо витали надежды и мучительные сомнения. Им пора было начинать, а они все не решались, а стрелка уже бежала по кругу, отсчитывая первые секунды из тех двух с половиной минут, после которых на светофоре зажжется красный свет, и тот, кто не успел, должен уйти с линии и уступить место другим. Так стояли они и вели счет своим секундам, и Сычев среди них, пока наконец то, что можно было выждать, ушло.

Тогда он вложил стрелу в гнездо на тетиве. Хвостовик вошел и щелкнул, как взведенный курок. И если то, что мы есть, определяется нашим прошлым, – с этого мгновения он перестал быть самим собой. И уже неважно было, что именно для него имело цену и значение в этом недавнем прошлом, – круг повернулся, декорации исчезли и появились снова, но это были уже другие декорации, и роли у актеров были другие – разбойник играл добропорядочного семьянина, а Золушка – Бабу-ягу. Кем был Сычев на зеленой арене – он не знал, представление захватило его; он весь предался во власть ощущений, в основе которых лежал тончайший расчет, доведенный на тренировках до автоматизма. Левая рука его с луком стала медленно подниматься, рука поднималась плавно – плавность была главным условием хорошего выстрела. Далеко от него стояла мишень с золотым яблоком посередине, и к этому-то яблоку и двигался его прицел, прицел и левая рука, а правая мягко вела тетиву к подбородку. И в эти считанные мгновенья, пока руки, независимо от него, поднимали лук и тянули тетиву, он успел заметить флажок, шевельнувшийся от порыва ветра за девяносто метров от него; слева на солнце наполнила тучка; рукоятка лука скользнула у него в руке, давление приходилось немного выше основания большого пальца, мысль о тальке снова появилась где-то сбоку, появилась и исчезла, он только успел подумать, отрешенно, как и в первый раз, – надо, надо было взять тальк; тетива легла не по месту, не коснулась самого кончика носа, а легла справа, он не думал обо всем этом, автомат, сидевший внутри, справился без него, сам все проанализировал, почувствовал,

в то время как прицел – черная точка – тихо полз по раскрашенным кругам к центру. Белый, черный, голубой... красный и наконец золотисто-желтый; дополз и замер, и тут же автомат дал поправку – на тучку и на ветерок. Прицел нехотя шевельнулся, сполз с середины вправо и вниз, дрогнул и снова замер. «Проверка, – сказал он себе, – проверка...» Всё было в порядке. Всё было в порядке, прицел не дрожал, вынос был определен правильно, секундная стрелка бежала, время шло можно было стрелять, нужно было стрелять, оставалось только произвести выстрел, левую руку надо было удерживать там, где она и была, справа и ниже золотисто-желтого круга, правой рукой потянуть тетиву, тянуть и тянуть, включить спину, завершающее усилие должно было выполняться как бы само собой: незаметное движение лопатки, мягкое и мощное, и в тот момент, когда щелкнет кликер<sup>1</sup>, кисть должна сама расслабиться, пальцы отпустят тетиву, она уйдет с мягким шипением, она рванется вперед, она выбросит стрелу в пространство, но тебя это уже не касается – ты должен остаться недвижим. Да, ты не должен даже шевельнуться – до тех пор, пока стрела с характерным звуком – «тук-к-к» – не воткнется в мишень.

Что он и сделал. Он протащил стрелу. Он замер. Теперь потянуть. Он потянул. Теперь лопатка. Лопатка пошла, пошла, сейчас щелкнет кликер, он щелкнул, и в тот момент, когда пальцы, расслабившись, должны были отпустить тетиву, они вдруг словно одеревенели, они прилипли к тетиве, левая рука уже сдвинулась с места, прицел покатился вниз, а он все тянул и тянул, понимая со странной смесью ужаса и изумления, что сейчас, вот сейчас произойдет непоправимое, но он не мог разжать пальцы, не мог, не мог. Это было нелепо, то, что он не мог разжать их, это было так нелепо и бессмысленно, что удивление в нем победило ужас, он смотрел на себя со стороны, со стороны это выглядело еще более нелепо, и он едва удерживался, чтобы не покачать головой. Прошло мгновение, не больше – и тут до него дошли все ужасные последствия такого положения. «Снять, снять выстрел!» – крикнул он себе, но сделать ничего не успел, левая рука была согнута, он уже не видел прицела, он знал только, что стрелять нельзя, – в это время пальцы наконец раскрылись, он почувствовал толчок, он дернулся весь, словно этим отчаянным движением хотел выпрямить путь тетивы, но уже было поздно, он мог только выглянуть из-за покосившегося лука, он выглянул и увидел, как некрасиво, боком, виляя, стрела понеслась к мишени, пытаясь в воздухе выпрямить свой полет. Ему было нестерпимо больно смотреть на это, и он закрыл глаза.

И тут же звук – жалкий, словно лопнула где-то струна, долетел до него.

Все было кончено. Не стоило открывать глаза. Не стоило даже брать бинокль, чтоб посмотреть на такой выстрел, но он, чисто механически, сделал это – снял бинокль с пояса и посмотрел: стрела его была в щите. Она воткнулась в щит так, как она и летела, – боком, жалко, и теперь понуро висела у самого края мишени. Руки у него тряслись, бинокль прыгал, и некоторое время он не мог даже понять, задел он хотя бы единицу или нет, и ему пришлось опереть бинокль о лук. И тогда он увидел, задел.

Единица!

Не десятка и не девятка, и даже не шестерка на худой конец – единица, одно несчастное очко, но он обрадовался так, словно попал в самый центр десятки. Единица – это все-таки был не ноль, это было попадание, это было очко, но ведь очко, не промах, нет, не промах...

Нет, его так просто не возьмешь. «Спокойно, – сказал он себе, – спокойно». Вторая стрела; рука вынула ее из колчана, стрела легла на тетиву, и хвостовик щелкнул; он делал это сотни раз, он делал это тысячи раз, он не был звездой первой величины, но и последним он тоже не был. «Так, – сказал он себе, – ну, давай». Веселая злость пузырьками поднималась у него в груди. «Значит, единица», – сказал он себе, и левая рука его мертво стала в центре.

«Единица». И пальцы мягко легли на тетиву.

---

<sup>1</sup> Кликер – плоская пружина определяющая момент прохождения наконечником стрелы контрольной отметки и сигнализирующая об этом звуком – щелчком.

«Единица». И лопатка пошла назад. «Контроль», – сказал он себе, но больше уже по привычке, злость кипела и поднималась; контроль, проверка – но все было в порядке, левое плечо было на месте, кисть лежала в рукоятке, словно младенец в колыбели, кончик носа чуть касался тетивы, а прицел все стоял в центре; так рыба стоит над камнем, живая и неживая в одно и то же время, и двигаясь, и стоя на месте; все было в порядке, и он дотянул еще чуть-чуть. Тут щелкнул кликер, – тяга шла, пальцы раскрылись сами собой, движение было мягким и неуловимым для глаза, правая кисть свободно ушла назад, прицел все еще стоял в центре, а стрела исчезла, она рванулась и исчезла из поля зрения, раньше чем он успел бы моргнуть. Только он ведь и не моргал, моргать ему было вовсе незачем, как незачем было ему глядеть, куда летит его стрела и куда она попадет, ибо в тот самый момент, когда он выстрелил, в тот момент, когда разжались пальцы и соскользнула тетива, – он почувствовал и понял, он был совершенно уверен, что эта стрела будет «там», в середине, в самом центре, и так оно и случилось, – так что когда издали донеслось до него столь сладостное – «тук-к-к», ему на этот раз не пришлось ни пересиливать себя, ни тратить время на то, чтобы посмотреть в бинокль. Нет, здесь он времени терять не стал, веселые и злые пузырьки все еще поднимались в нем, это было восхитительное чувство, и пока оно не прошло, не стоило терять ни секунды. И он просто повторил все, как автомат: левая рука, правая рука, прицел, проверка, тяга, лопатка, щелчок и выпуск. И снова издали донеслось до него – «тук-к-к»... Он только зубы сжал, повернулся и пошел с линии стрельбы на свою скамейку. И только тут, теперь только он по-настоящему испугался, вот тут-то на него накатил настоящий страх, как если бы он выскочил удачно прямо из-под колес машины и пошел бы себе как ни в чем не бывало и, может быть, даже посвистывая, а потом остановился бы, и ноги подкосились, и пот побежал по груди и по спине; стоял бы весь мокрый и думал бы: «Да, пронесло. Но могло-то быть и иначе».

Точно так и здесь – все могло быть иначе, и Сычев не дошел еще до скамейки, а уж колени у него подогнулись. И все-таки он уже выскочил, а вот Зайдниексу, который шел ему навстречу, все еще предстояло. Зайдниекс шел ему навстречу, улыбаясь белыми от волнения губами; он стрелял по тому же, что и Сычев, щиту, он был «литер В». Он был парень что надо, Аугустинус Зайдниекс из Даугавпилса, он был слесарь-ремонтник, он всегда владел своими нервами, он и сейчас владел ими, когда попробовал улыбнуться Сычеву. Сычев же только и мог что моргнуть в ответ.

На скамейке сидел веселый, как всегда, Шарафутдин Ташибеков и смотрел в подозрную трубу.

– Ну, – осипшим голосом спросил его Сычев, – Ну, Шурик?

Шарафутдин открыл зажмуренный глаз и посмотрел на Сычева. Глаза его были темно-карие, твердые и веселые. Смотреть на него и то было приятно. Это были глаза веселого и доброго человека, добрым и веселым человеком был Шарафутдин Ташибеков, он был мастером международного класса, Шарафутдин Ташибеков, он был учителем средней школы; наверное, там, в горах, где он был учителем, иным и нельзя быть, и Сычев подумал вдруг, что хорошо, должно быть, ребятам иметь такого учителя, как Шурик. От сердца у него отлегло, и он улыбнулся. Он улыбнулся Шарафутдину, как улыбнулся бы любимому брату, и Шарафутдин, Шурик, улыбнулся ему в ответ, и тут Сычев подумал снова, что будь у него такие зубы, он вообще не смыкал бы губ, улыбался бы без остановки с семи утра до двенадцати ночи, и даже перерыва на обед не стал бы просить.

– Ну, – сказал Сычев, улыбаясь, – ну, Шурик?

– Очко, – сказал Шарафутдин. – Хорошо, а? – Ему, похоже, очень хотелось засмеяться, он даже словно подпрыгивал от нетерпения, так его распирала радость – ведь жизнь была так хороша; и, глядя на Шарафутдина, нельзя было не признать правильности этого несколько общего положения. И Сычев согласился и сказал:

– Да, Шурик, вроде и в самом деле неплохо.

– Неплохо? – сказал Шарафутдин. – Нет, это просто хорошо, а?

И они рассмеялись, и тут Сычев окончательно пришел в себя. Шурик был прав, конечно. Это было хорошо, это было замечательно, замечательно было, что он попал оба раза в десятку, злые пузырьки у него в груди исчезли, злости не было, а была уверенность и теплота. «Все хорошо, – говорил он себе, – все хорошо».

Он хотел было сказать об этом Шарафутдину, но тот уже исчез, унесся, убежал, и Сычеву ничего не оставалось, как вытащить из колчана записную книжку и карандаш и твердым вертикальным почерком вывести: «Первая серия.  $1+10+10=21$ ».

Ну, так вот оно и началось. Сначала ты делаешь то, что должен сделать, потом уходишь, потом возвращаешься и делаешь это дело снова. И еще раз. И еще... уходишь и возвращаешься, но разве это в первый раз? Разве не это мы делаем всю свою жизнь? Между солнцем и зеленой травой, под голубым небом, сверкая, проносятся стрелы, ты уходишь и возвращаешься и снова уходишь, и солнце освещает тебя, а может быть, через минуту польет дождь – разве в этом дело? Ты – часть большого мира, ты делаешь свое дело, земля вращается, где-то ночь, в земле лежит зерно, где-то холод, где-то зной, варится сталь, добывается уголь, добывается нефть, мудрец сидит согнувшись над листком бумаги, спит женщина, вернувшаяся с ночной смены, где-то родился ребенок, кто он – будущий Сократ, Заратустра или новый доктор Менгеле; летят стрелы, жизнь идет своим чередом, жизнь вечна, но неизменным в ней остается только одно – ее изменчивость.

А ты стоишь на линии, ты литер «А» или литер «В», ты инженер, учитель, портной, архитектор, милиционер, слесарь или летчик, ты живешь в Англии, ты живешь в Сиднее, Ленинграде, Копенгагене, Москве, Антверпене, в горном кишлаке.

Ты держишь в руках «хойт», или «марксман», или «голдн игл», или «грин хорн», или «блэк видоу».

Ты идешь к щиту по зеленому полю, по упругой траве, над тобою ветер развернул флаги, транспаранты рвутся вдаль, «привет участникам международной встречи», ты идешь к щиту, чтобы выдернуть стрелы.

А потом ты снова идешь, чтобы через несколько минут начать все сначала, и думаешь о мире, таком большом и таком непохожем.

Ты думаешь о том мире, что меняется каждую секунду, о потоке, в который нельзя войти дважды, и о том, что ты сам – это капля в безграничном океане. Можно было бы предположить, что капля никому не интересна, что ею можно пренебречь. А потом ты вспоминаешь, что без капли нет ручья, без ручья нет реки и нет океана. И ты начинаешь думать о своем мире, в котором ты живешь сейчас, когда ходишь по зеленой, уже успевшей высохнуть траве. Но ведь не всегда ты живешь в этом мире, мире стрел и флагов, есть еще другой, на время оставленный тобою мир, и вот о нем-то неожиданно для себя и вспомнил Сычев, вспомнил и забыл, и снова вспомнил, и стал думать о нем, вспоминать о нем, и уже не забывал, не забывал о том мире, из которого он уехал три дня назад; мир был тогда другим, он, Сычев, был тогда другим, и другой была вода в потоке.

## 2

*Поток существовал всегда, всегда существовал мир, солнце над головой, ветер и звезды и тропы у ручья, витязь ехал по тропе темным лесом, чистым полем, зеленая трава и синее небо, лук за спиной, в руке копье, витязь ехал по белу свету и доезжал до развилки, тут он замечал, что дорога разделяется, направо пойдешь – коня потеряешь, конь пятился, колебалось в руке копье, пасмурно становилось на душе, налево пойдешь – домой не придешь, белели обглоданные ветром кости и ворон мерзко хохотал в вышине. Проходили минуты и часы, надо*

*было выбирать, проблема выбора возникала рано или поздно перед каждым, и каждый рано или поздно делал свой выбор.*

*Проходили дни, месяцы, годы и столетия, менялись формы правления, появлялись и исчезали религии, экономические учения, менялись авторитеты, проблема выбора оставалась, хотя витязь был уже другим...*

Существовало несколько путей, и выбор каждого из них был в равной мере случаен и закономерен. Если бы пришлось подыскивать названия, то один из них можно было бы назвать путем необходимости. Он, Сычев, так и назвал бы его, будь он склонен к скрупулезному анализу своих действий, но он не был к этому склонен – особенно если ему и в самом деле приходилось выбирать.

Этот путь состоял, в основном, из аритмичных бросков через переполненные людскими телами пространства; пересадки были похожи на штурм редута, короткие, как удар клинка, реплики парировались молниеносными взглядами. Тяжелое дыхание, медленно раскрывающиеся двери вагона, водоворот встречных противоборствующих течений. Искусственный воздух подземного помещения и быстрый, чересчур быстрый бег стрелок на часах; время летит, время приближается к девяти, стрелки не ждут, волнение повисает в воздухе, как невидимый, но реальный туман, из тумана появляется красная шапочка, красная шапочка кокетливо посажена на обесцвеченные кудри, высокий от напряжения голос уговаривает: «Граждане, не толпитесь, становитесь на ступеньку эскалатора по двое...»

Эскалация нетерпения. Стрелки бегут.

Эскалатор не торопится, его движение задано наперед, эскалатору чуждо нетерпение, лениво движутся вверх рифленые ступени, люди вняли голосу, они стоят на рифленых ступенях по двое, а кое-где и по трое, но красная шапочка этого уже не увидит. Вверх, вверх, медленно вверх, господа, как медленно вверх; каждый, кто стоит на ступенях, рад бы помочь медленным, неторопливым ступеням, каждый рвётся туда, к выходу, хорошо бы иметь крылья, хорошо тому, кто имеет крылья, хорошо бы не зависеть от техники, расправить крылья и полететь, но человеку не дано летать. Эскалатор ползёт. Медленный, размеренный подъем, полупустые чёрные ступени, ползущие навстречу, уходящие вниз, в душную даль тоннеля. Не спеша уходят вниз бронзовые массивные светильники.

«Прослушайте объявление. Ленинградскому метрополитену для постоянной и временной работы требуются рабочие, мужчины и женщины. Для лиц, не имеющих специальности, организовано производственное обучение. Холостые обеспечиваются общежитием. Там же требуются уборщицы производственных помещений, заработная плата сто четыре рубля в месяц. Обращаться по адресу: Московский проспект, сто двадцать восемь. Повторяю...»

Девушка с чёрной сумочкой думает – я могла бы пойти уборщицей. Девушке двадцать четыре года, она инженер, её зарплата девяносто рублей. Её не примут уборщицей, ей не дадут сто четыре рубля, у неё диплом, она так и будет работать инженером, но она на всякий случай запоминает адрес: Московский проспект, сто двадцать восемь.

Но в этот момент уже светлеет, фиолетовый свет люминесцентных ламп сталкивается с ярким природным светом, искусственный свет, казавшийся там, внизу, таким ярким, тускнеет, бледнеет, исчезает совсем. Последние ступеньки. Они оседают, рифлёный поток исчезает в глубине машины. Неловкий, спотыкающийся шаг – и ты наконец наверху, на твёрдой и ровной земле, ты можешь продолжать свой путь.

Вперед.

И ты устремляешься вперёд. Как жаль, что у тебя всё-таки нет крыльев. Быстро, быстрее, ещё быстрее, секундная стрелка несется галопом, ты не должен отстать, лететь ты не можешь, перед тобой парк, дорожки переплетаются, на траве еще не высохла роса, но ты бежишь, ты вынужден бежать вслед за стрелкой, наперегонки с безжалостным механизмом, и ты не видишь, не замечаешь уже ничего; цветы распластались в чашах из серого гранита, изумрудная

зелень пронизана утренним солнцем, золотистые дорожки присыпаны свежим хрустким песком, но ты не видишь этого, ты бежишь, лёгкие жадно вдыхают прохладный утренний воздух: вдох, выдох, снова вдох, рубашка на спине уже промокла от пота.

А вот уже кончается желтая похрустывающая дорожка. За ней – набережная, кованая решетка, двуглавые орлы опустили длинные печальные шеи. Но ты не замечаешь ничего, незамеченной остается и ширь темно-синей воды, внезапно и остро открывающаяся взору там, слева, и краснокаменная туша Артиллерийского музея, и уходящий вправо узкий и изогнутый канал. Ты не видишь ничего, даже неба над головой у тебя нет, даже земли под ногами.

Бегом, бегом, бегом, по гулкому мостику, под желтую арку ворот, над воротами выбита дата – 1740 год, мимо экскурсантов, бог весть каким образом оказавшихся здесь в такую несусветную рань, – и чего им не спится? Мимо них, мимо них, мимо, лиц он не различает, лица неразличимы, лица – словно туман, общий невнятный мазок кисти, только золото тюбетеек, только темнота кожи, знакомой с иным, нездешним солнцем, мимо, мимо них. И уж совсем случайно, на бегу, сверхъестественно, боковым каким-то зрением ухитрился он однажды зацепить и запомнить темно-русую прядь коротко стриженных волос и стройность тонких ног, высоко отчеркнутых строгой черной юбкой.

И еще – но это уже наверняка из области догадок, домыслов и сладостной вольной фантазии: негодующий взгляд зеленовато-коричневых глаз, взгляд этот долго еще помнился дурно воспитанному человеку, толкнувшему женщину, он бежал, он спешил, он не успел даже пробормотать извинение, или оно не было слышано, этот вопрос будет выяснен много позже – пока же он только смог обернуться, но второго такого взгляда суждено ему было дожидаться не скоро.

А тут ещё этот прыжок...

\* \* \*

Этот прыжок всегда приходилось делать в конце жестко очерченного пути, это был прыжок через вытоптанный, с редкими зелеными проплешинами газон, и он был совершенно естествен и необходим, как точка в конце сочинения, ибо после него ты оказывался в самом хвосте огромной толпы. Ты вливался в толпу, как ручей в реку, исчезал, растворялся, становился подобным, объединялся, сливался и исчезал, «я» менял на «мы», прикрываясь множественным числом, как щитом, чувствуя себя неуязвимым, защищенным и невидимым; «я» исчезало, оставалось только тяжело дышащая многоголовая гидра, которая спешила, пыхтела, шаркала десятками ног, бежала последние метры наперегонки с секундной стрелкой, она делала это вчера и позавчера, будет делать завтра и послезавтра, а может быть, и через месяц, через год, через сто лет будет продолжаться эта игра, пока кому-нибудь не надоест. Я бегу, ты бежишь, мы бежим, вы бежите, они бегут, чередуются мужчины и женщины, чередуются «ж» и «г», чередуемся мы и вы, ты и я, молодежь вырывается вперед, крепкие мышцы и здоровое сердце приспособлены для финишного рывка, дверь проходной автоматически захлопывается в тот момент, когда секундная стрелка пробежит последний круг, еще рывок, стрелка финиширует, финиш ровно в девять у двери проходной – на этот раз она не успела захлопнуться, соперник посрамлен, увлеченная твоим примером гидра набрала скорость, она толпится в дверях, пересекает спасительную черту, – так финишируют велогонщики в групповой гонке, места у всех разные, а время одно, и только первые три получают бонификацию.

Так заканчивался этот путь, обрывалась караванная тропа, трасса марафонского бега. Никто не кричал: «Мы победили», никто не падал и не умирал, гонки продолжатся завтра и послезавтра, победитель не получал ничего. А завтра начнем сначала – я и вы, мы все, нам еще потребуется все наше умение, вся выносливость, хорошо, если нам, как сегодня, будет сопутствовать удача. Теперь можно утереть пот, пойти умыться, поделиться впечатлениями,

перевести дух и закурить. Мы победители, и мы сами назначаем себе бонификации и награды; пять минут, чтобы прийти в себя, пять минут – умыться, пять – покурить, синий дым сигарет заменяет дымы жертвоприношений, еще десяток минут – и можно работать.

Сычеву был знаком этот путь, очень, очень хорошо знаком, но он не включал его в обширный реестр рассматриваемых вариантов. Он делал это намеренно: необходимость не поддается рассмотрению. Бессмысленно говорить о варианте, не оставляющем выбора. *Вы можете купить у нас машину любого цвета, при условии, если этот цвет будет черным*, говорить следовало совсем о другом, потому что иногда, редко, но бывали и другие пути. И вот о них-то и следует говорить, ибо они принадлежали к той стороне жизни Сычева, в которой понятие необходимости если и не отсутствовало вовсе, то расширялось до тех мыслимых границ и пределов, где оно переходило и как бы сливалось с понятием свободы.

В любой свободный день все эти пути начинались сразу же за дверью подъезда. Неспешными шагами выходил он во двор. Четырехугольный колодец тянулся вверх своими девятиэтажными стенами, стены были тусклыми и серыми, синей эмалированной крышкой лежало небо; гряда ящиков громоздилась посередине двора. Ящики были похожи на обломки рухнувшей башни. Пестрая толпа, теснившаяся у серой стены, вызывала в памяти вавилонское столпотворение, но смешения языков не было. Молчание было общим языком. Очередь не любила пустопорожних разговоров, очередь сдавала посуду: блестели ярлыки, вились надписи, подрагивали в руках сетки и чемоданчики, рюкзаки и корзины; двор, начало пути, начало всех путей, имел довольно гнусный вид, серый цвет доминировал, мелодично позвякивало стекло, кошки бежали по своим делам, корчился в огне выброшенный кем-то старый диван, черный дым красиво вливался в небесную синь. Путь уводил со двора, серый доминирующий цвет оказывался временным явлением, он преобладал лишь временно, впрочем, иначе и быть не могло, серое – цвет тлена и смерти, цвет небытия, это становилось ясным сразу же за углом, где сквозь черные асфальтовые щели неоспоримым торжеством живого над крепостью мертвого и бездушного пробивались зеленые струйки травы. Тут был еще один поворот, и еще – свернув направо, можно было выйти на улицу, тут же, через какой-нибудь десяток метров впадавшую в огромный проспект, тянувшийся через весь город с севера на юг. Здесь-то и появлялись первые варианты, здесь начинала двоиться и троиться дорога, в этой исходной точке окончание пути скрывалось во мраке, в тумане, в неизвестности; в неизвестности таился элемент риска, здесь, на углу был тот берег, от которого отплывали каравеллы, все пути были открыты и доступны, и все они были одинаково радостны и одинаково желанны.

Все решало мгновение, случайность, импульс. Взгляд мог упасть на темно-зеленую стену парка, и тогда, отдавшись мгновенному порыву, можно было идти и идти, похрустывая неукатанным гравием по горбатой дорожке, по тени, из которой солнцем то здесь, то там были выхвачены зубчатые куски, можно было идти по аллее или тропинке, пересекать другие аллеи и тропинки, то узкие, то широкие, мимо бюстов на массивных постаментах, мимо фонтана – огромного венка из бронзовых листьев, ощущая на лице мелкую пудру рассеянной в воздухе влаги, идти и идти, вплоть до того места, где гипсовые львы, пятнистые от облинявшей бронзовой краски, недоуменно и чуть обиженно смотрели слепыми глазами в стоячую воду искусственного озера.

Заманчив был этот путь, но он был слишком короток, станция метро круглилась рядом со львами, ветер гнал по дорожкам промасленные бумажки, летом и зимой здесь шла бурная торговля пирожками, путь заканчивался у плетеных корзин, а дальше путешественника ждала столь знакомая ему по предыдущим дням подземная проза метро.

Не потому ли предпочитал он поддаваться иным импульсам, толкавшим его на другой путь – пусть даже он уводил его прочь от аллей, манивших своей зубчатой и широколиственной тенью. Прочь. И он поворачивался к парку спиной, копье выбора склонялось направо, путь вел его туда, где улица становилась проспектом. Проспект был рекой, тротуар заменил дорожку,

трава на узком газоне была бурой. Он не спешил, он двигался осторожно: шаг, остановка, еще шаг, еще остановка, путь был известен и в то же время нов, он пронесся здесь некогда, он пробежал здесь недавно, мимо, мимо, мимо, не глядя по сторонам, не видя, не замечая ничего вокруг, не догадываясь о существовании всего того, на чем теперь с изумлением останавливался его неторопливый взгляд – можно ли было сказать, что он знал этот путь? Нет, он его не знал. Он убеждался в этом на каждом шагу, остановки были продиктованы любопытством первооткрывателя: он открывал заново мир, в котором жил давно, для открытия которого ему вечно не хватало времени. Предметы и явления, останавливавшие теперь его внимание, были, по правде сказать, достаточно обыденными и простыми, но это ни о чем не говорило; более того, обыденность, которую он не мог разглядеть ранее, содержала в себе прелесть новизны.

Он остановился сразу за углом, первый же взгляд приковал его к тротуару, первый же поднятый взгляд, что-то ползло по стене, это были остывшие неоновые трубки. Свиваясь и развиваясь, они образовывали бесконечную надпись, которая тянулась над запыленными витринами и исчезала вдали: *ткани-трикотаж-белье-чулки-галантерея*. Неоновые трубки были серыми, они были мертвы. Мертвые неоновые слова, появившиеся неведомо по чьему желанию. А рядом было еще одно слово, короткое и странно загадочное, звучавшее таинственно и грозно. Это слово могло быть заклинанием халдейского мага, приносящего жертву небесам, – то было слово *УРС*. *УРС!* Здесь таилась загадка, может быть где-то была скрыта пещера, полная сокровищ, которая ждала своего «Сезам, откройся».. Слово *УРС* было тоже покрыто пылью, наверное это была пыль веков. И он, Сычев, был единственным, может быть, человеком, обратившим внимание на это слово. Он ясно сознавал, что только неограниченная свобода, которой он сейчас располагал, только она позволила ему оторвать взгляд от земли, заметить это слово, увидеть в нем загадку и насладиться ею. Это слово вернуло его в детство, в ту невинную пору веры в существование чудес, которые некогда тревожили его воображение, в пестрый мир необыкновенного, где серый цвет обыденности еще не проступал, – в мир, в границах которого были высечены слова *рух*, *джинн* и *сезам*. Эти слова были той же породы, того же происхождения, что и *УРС*, они с тех давних пор остались в его памяти и до сих пор вызывали сладкую и томительную дрожь.

Жаль, что нельзя было остаться здесь навсегда, прекратить свой путь, отдаться созерцаниям и размышлениям. Асфальтовая река текла дальше, асфальтовая тропинка звала вперед, откровение еще не пришло, возможно, дракон ждал его где-то впереди, где-то притаился он, готовый к схватке, расправляя на солнце перепончатые крылья. Витязь был уже не волен над собой, путь должен был продолжаться – и он продолжался, хотя и не без сожаления; таково было условие игры. Но уже и того, что было увидено на первом шагу, достаточно было, чтобы понять слепоту предыдущих торопливых дней. Теперь он заново открывал и по крупинам собирал то, что многие годы терял широко, щедро и бездумно, – но кто мог знать, что настанет время, когда чистейшая поэзия откроется ему в слове «БАКАЛЕЯ», а за словом «ОВОЩИ» прозвучит музыка сфер.

Продавец овощей был посланцем небес, по крайней мере внешне, за широкими плечами, вероятно, скрывались сложенные крылья, вились кудри, голос его был подобен трубе, созывающей грешников на божий суд. «Помидоры, – взывал он, – помидоры, покупайте, граждане и гражданки, – голос ширился, разносился дальше и дальше, захлестывал и усыплял, голос звенел, он был наполнен угрозой и страстью, – прекрасные, несравненные помидоры по редким, доступным, по сниженным ценам, – голос гремел и останавливал, он предвещал что-то неслыханное, руки архангела шутя перекидывали тяжелые ящики, – всего шестьдесят копеек за килограмм». Архангел был горд собой и имел для этой гордости все основания: вечером у него было назначено свидание с девушкой нечеловеческой красоты, позавчера он купил себе мотоцикл «ЯВА-350», он зарабатывал более двухсот рублей в месяц, девушка с черной сумочкой, что сидела сейчас, склонившись над чертежом, и мечтать не могла о такой зарплате. Помидоры



вели его к счастью прямой дорогой. Он ни разу не пожалел о своем выборе, сфера обслуживания была его небесами, его путь к счастью был вымощен помидорами и картофелем, капустой «кольраби» и баклажанами. «Замечательные, несравненные, непревзойденные помидоры!»

Голос архангела уже охватывал землю и небо, страсть вела его, страсть покоряла сердца прохожих, открывая их взору то, что было скрыто в глубинах недр. Было утро, возможно, это был один из первых дней творения, возможно, земля была еще раем, человечество еще прозябало в невинности, вечер грехопадения был еще далек. Помидоры и впрямь казались прекрасными; нетрудно было найти извиняющие причины, трудно было противостоять музыке сфер. Кудри вились, грешники, поживаясь, сводили дебет с кредитом, незрелость помидоров никак не могла быть поставлена им в упрек. Незрелость вообще не может быть поставлена кому-нибудь в упрек, ибо всегда является лишь следствием пороков заготовки. Часто, впрочем, незрелость удобна. Она позволяет обходиться с товаром без особых церемоний.

Только тут Сычев заметил, что мысль его, оттолкнувшись от осязаемых и вполне определенных субстанций, странным образом воспарила к отвлеченным эмпириям чистого духа. Это иногда случалось с ним, и сейчас с ним случилось то же самое, стоило ему только подумать о незрелости вообще; хорошо, что он еще вовремя остановился; кто знает, куда мог завести его увлекающийся абстракциями ум? – неведомо куда.

К счастью, этого не случилось, и не случилось по причине глубоко реалистической, ибо глубоко реалистической и материальной была раскрывшаяся перед ним картина, и в один миг она возобладала над отвлеченными, сомнительными и никому не нужными умствованиями. Мгновение – и он оказался далеко за пределами незрело-помидорных сфер; замерев, он стоял уже у границы иного мира, и иное солнце освещало его. Люди были перед ним, божественное нисколько не осеняло их своим крылом. Но змий-искуситель угадывался, змеевидность формы уживалась с примиренной покорностью содержания. Трогательной была единость и единовременность, заставившая этих совершенно разных людей в этот ранний еще субботний, нерабочий час покинуть теплые постели. Картина была трогательной. Она была поучительной, не говоря уж о живописности: раннее утреннее солнце просвечивало янтарную жидкость, пиво в кружках казалось расплавленным золотом, движения людей напоминали древний ритуал поклонения огню. Осторожными и бережными были их движения, они говорили о скрытой в недрах души и не нашедшей выхода нежности; не исключено, что нежность эта была не осознана и лишь случайно прорывалась наружу, открываясь стороннему взгляду невольного соглядатая, малопочтенную роль которого исполнял в данном случае Сычев.

Он побрел дальше, он был смущен, окружающий мир смущал его чрезмерным, сверххобильным многообразием, он таил в себе несметные сокровища и готов был одарить ими любого, требуя за это, или даже не требуя, а умоляя лишь об одном – о внимании.

И Сычев, покорно уступая этому зову, поднял глаза – в предстоящем ему откровении сомневаться уже не приходилось.

«РЫБА», – прочел он и вслушался в отзвук собственного голоса. А потом еще раз повторил по складам: «Ры-ба...»

И тотчас за стеклом появилось:

### **СКУМБРИЯ**

Из скумбрии можно приготовить  
разнообразные рыбные блюда.

**В НЕЙ СОДЕРЖИТСЯ 20 % ЛЕГКО УСВАИВАЕМЫХ  
БЕЛКОВ И В СРЕДНЕМ 5–5,2 % ЖИРА.**

**ВИТАМИНЫ В1 – В2 – В12 – РР**

**И МИНЕРАЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА,**

**НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

## ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОРГАНИЗМА

Вот что суждено ему было узнать. Он увидел все это на расстоянии какого-нибудь полуметра, и тут ему показалось, что до откровения, которого он так жаждал, совсем близко.

## 3

Зависть, зависть, обыкновенную черную зависть – вот что он почувствовал прежде всего. Может быть, он хотел бы стать рыбой? Да, сказал он сам себе, хотел бы. *Старший инженер Сычев – скумбрия*. Он сам превратился в полосатую проворную рыбу, он мчался куда-то в общей стае, он уже не завидовал, он свободно перемещался в безграничных водных просторах, границы государств не сдерживали его, заработная плата его не интересовала, таможенные сборы отсутствовали. Он преодолевал огромные пространства, он спасался от опасности, избегал тралов и акул, он подчинялся лишь собственному инстинкту, а когда его вылавливали, его изучали, он был в центре внимания мировой общественности. Все живое смертно, и после смерти полосатая рыбка – Сычев становился предметом пристального и кропотливого исследования, после чего весь мир узнавал об изумительной полезности существования Сычева, это в нем содержались легко усваиваемые белки и жиры, это он был необходим для нормальной жизнедеятельности человеческого организма, это он... Впрочем, уже перечисленного вполне достаточно для удовлетворения любого честолюбия. Сычев был горд и удовлетворен, это удовлетворение могло придать смысл его жизни, будь он рыбой. К сожалению, он не был ею и гордости не чувствовал. Удовлетворения он не чувствовал тоже – по той же причине, он не чувствовал ни того ни другого; и зависть переполняла его. Неужели это и было откровением, которого он так долго ждал? Если да, то у откровения был горьковатый привкус. Зависть была вполне человеческой, она касалась самого Сычева, она касалась его самого и его жизни, он прожил на свете тридцать с лишним лет и до сих пор не мог бы ответить на вопрос: нужна ли (слово «необходима» он не осмеливался даже произнести) – нужна ли была кому-нибудь его жизнь, нужен ли был кому-нибудь он сам, и если да – то зачем. Каков был скрытый от него смысл его жизни, какой от нее был прок ему самому и всему человечеству – он хотел быть полезным, он непременно хотел быть полезным всему человечеству, он жаждал быть нужным кому-нибудь, кроме анонимных отделов по кадрам с их написанными от руки «Учреждению требуются...» Это желание мучило его и жгло в дни его жизни, наполненные торопливым круговоротом деяний, неотличимых одно от другого. «*Требуется Сычев*», – хотел бы прочитать он однажды, но требовались только опытные инженеры.

Каковым он и являлся...

Здесь, кажется, пришло время сказать несколько слов о герое сего повествования, оговорив заранее, что ничего геройского в нем нет и не будет, ведь о нем читателю пока известно лишь то, что его фамилия Сычев. В самом начале он, кажется, пел песенку о веселом птицелове, да еще имел некоторое, до поры до времени не уточняемое отношение к стрельбе из лука. Хотя и это уже – смотри ты – совсем не так уж мало, есть люди, которые и известны лишь тем, что носят какую-то фамилию, а тут мы можем добавить, что Сычева звали Игорь, и с учетом того, что ему было уже за тридцать, пожалуй уместно будет называть его Игорем Александровичем, хотя средства массовой информации, радио и телевидение вкупе с борзыми на слово журналистами предпочитают называть мужчин его возраста объединяющим словом «ребята» – например: «Наши ребята во втором тайме показали...» и так далее. Игорь Александрович Сычев, тридцати с лишним лет, один из «наших ребят» – а что же далее? Он избран быть героем – за что, чем он знаменит, чем отличен от других, в чем послужит примером? Кто сделает себе идеалом его жизнь, кто, замерзая, будет повторять его имя, чему он может научить, что есть в нем такое?

Ничего. Ничего в нем такого нет – автор, знакомый с героем лучше всех, говорит это совершенно честно, ему жаль, но это наш сосед по коммунальной квартире, речь пойдет о самом обыкновенном человеке, о самом обычном, о тех, кого в дюжине двенадцать, а в сотне девяносто восемь, и будь автор посмелее, он назвал бы свой рассказ «Повестью об обыкновенном человеке». Именно таким был Игорь Александрович Сычев – по крайней мере ничто в его жизни не позволяло ему думать иначе, ни ему, ни другим, ничто не давало ему повода или предлога выделять себя из дюжины или сотни, он был такой, как все, и уже по одному по этому решительно не годился в герои. Он и сам так думал, тут он не заблуждался, уж он-то знал себя, уж он-то знал себе цену. Цена была умеренной. Она чуть-чуть была выше той, что он получал в виде месячного вознаграждения за свой нетяжелый труд. Он получал сто сорок пять рублей в месяц – без премий.

Кто же он был? Самый обыкновенный человек, мы об этом уже говорили. Нет, дураком он не был, он был нормального, среднего ума, он был честен, он был прям, он был не способен на подлость, он не был подхалимом – и в тех пределах, в тех берегах, что оставляла ему жизнь, был независим – разве этого мало? И еще он был горд. Может быть, поэтому он никого ни о чем не просил – просить для него было нож острый. Пожалуй, он был не по чину горд, но и это не порок и не геройство. Просто он был «из тех ребят». Его детство пришлось на войну – наверное, это может послужить объяснением. В остальном и жизнь его была обыкновенна. В школе он учился без троек – но не более, в институт он поступил, выбирая, где поменьше конкурс, – и поступил. В институте учился ни шатко ни валко, и на двадцать пятом году закончил высшее образование с запасом знаний, по его собственному мнению, весьма умеренным, которого, однако же, к его удивлению, оказалось вполне достаточно для работы. Год после окончания института он проработал Мастером на стройке, он строил аэродром в большом южном городе: сначала там были кукурузные поля, тянувшиеся до самого горизонта, но затем появились зеленые вагончики, чуть позже – вечные временки, потом – бараки для строителей, подъездные пути, узкоколейка, он ходил с теодолитом и нивелиром, долго путался с установкой уровней: все было так не похоже на институтские практики. Он ходил в ватнике, речник качал рейку. Копались котлованы, росли стены из тесаного ракушечника, сроки торопили. Осенью кукурузу убрали, и черная земля предстала перед ними в печальной наготе. Он разбивал железнодорожную ветку, укладывал трубы, выписывал наряды. Тут у него произошел первый производственный конфликт: нормы и расценки были несовершенны, в наряды записывалось все, что хоть отдаленно относилось к делу, рабочие были нездешние, и обещанные сто пятьдесят рублей им надо было вывести, хоть умри. Он еще соглашался чуть изменить категорию грунта, он еще мог записать: «Относка грунта вручную на расстояние до десяти метров», – но выдавать чернозем за скалу или допускать ручную переноску грунта едва не на километр – на это он согласен не был. Конфликт был локальным, ничего страшного не произошло, наряд подписал за него старший прораб. А он перешел в лабораторию: определял лучший состав бетона, брал пробы, рекомендовал растворы. Наверное, он неплохо справлялся и с этой работой. Испытания бетонных плит для взлетной полосы прошли успешно, аэродром был построен в рекордный срок, а Сычев вернулся домой и пошел в изыскательскую партию – семьи у него не было, стране нужны были дороги, каждый год из-за отсутствия дорог страна теряла миллиард рублей. Сычев был специалистом широкого профиля, к тому же в изысканиях платили шестидесятипроцентную надбавку. Он работал в лесу: институт обслуживал Север и Северо-Запад. Вологодские, кировские, карельские леса были исхожены если не вдоль, то поперек уж точно, он уже не путался в уровнях, он работал быстро и хорошо, уровни в теодолите и нивелире устанавливались сами собой, чавкала болотная жижа под ногами, огромные резиновые сапоги доходили до бедер. Славное было время – он понял это много позже, а тогда он вживался в работу дорожника-изыскателя. Народ в партиях бывал всякий, в городе о таких людях и не слышали – от спившихся и выгнанных из института студентов до отцов семейств, от

охотников, не расстававшихся с ружьем, до раскаявшихся рецидивистов. Времени, как всегда, не хватало, сроки, как всегда, поджимали, людей, как всегда, было мало, так что капризничать не приходилось; в дело шли и отцы семейств, и рецидивисты, и охотники, да и сами они, два инженера и три техника, рубили просеки, разбивали трассу, вели пикетаж, нивелировку, производили съемки водотоков, если надо – копали шурфы и там, где не могла пройти лошадь, тащили трубы, ящики с геологическими образцами, палатки, ящики с инструментами, буханки хлеба, сахар и соль, муку и крупу. Если можно было – они останавливались в деревнях, нет – разбивали палатки. И так длился год, и еще год, и еще. Сычев прижился в изыскательских партиях, работа была тяжелая, но несложная, оказалось, что он умеет работать с людьми, он был неплохим организатором, он взваливал на плечи самый тяжелый мешок и шел первым. Конечно, его, мешок был не просто самым тяжелым, а самым тяжелым из того, что он мог нести, конечно, какой-нибудь Дима-большой мог унести на своих широченных плечах самого Сычева вместе с мешком, было просто удивительно, какие люди жили вдали от городов. Да, думал Сычев, удивительно все же, какие сильные есть люди, вот бы ему такую силу: он стал бы чемпионом мира по борьбе уж точно, он не пыхтел бы, не сгибался в три погибели под сорокапятикилограммовым мешком. Но он сгибался, он шел, пот катился по лицу, затекал в глаза, гнус вился вокруг них темным облаком, оседая на кожу, впиваясь, кусаясь, присасываясь, а они все шли и шли.

Год и еще год, лето и зима, весна и осень, Север и Северо-Запад, вологодские, костромские, карельские леса, архангельские болота. Трассы, площадки, мостовые переходы. Колючая хвоя, пряная листва берез, рубленные бани, резиновые сапоги до бедер, сбитые ноги, тренога с теодолитом, бритье холодной водой, дни и месяцы, месяцы и годы, километры и сотни километров, Сычев – начальник изыскательского отряда, Сычев – помощник начальника изыскательской партии, их партия – лучшая в институте, безотказные работники, гарантированная досрочность выполнения задания, трассы, трассы, трассы. «Что же дальше?» – спросил он себя однажды. – Что дальше?» Он лежал на печи на овчине, глаза у него смыкались, на дворе задувал ветер, сухие снежинки катились по застывшей земле. Хозяйская дочь Катя сидела внизу у стола. Кате было шестнадцать лет, она готовила уроки – дом был прибран, малышня, угомонившись, спала. Катя сидела над тетрадкой, прикусив маленькую полную губу, ее груди мягко круглились под тонким свитером, со своего места Сычев видел маленькое красивое ухо. Катя была очень красива. Сычев ей очень нравился, она никак не могла сосредоточиться, лицо у нее горело. «Что дальше?» – спрашивал себя Сычев. Надо что-то делать. Он чувствовал, что эта работа засасывает его, этой работе не было конца, она была бесконечной, страна была огромна, дорог было мало, строительство велось медленно, работы хватило бы до конца жизни. Была ли это его жизнь? Был ли ему предназначен этот удел? Он подходил к этой жизни, но подходила ли она ему? Он уже стал отвыкать от чтения, книга не шла в руки после десятичасовых переходов, он поймал себя на мысли, что начинает грубеть; наверное, это было вовсе не страшно: он мужал, он выполнял тяжелую мужскую работу, работа формировала его, может быть все шло так, как надо, может быть его сомнения были безосновательны и напрасны, вполне могло быть, что не происходило ничего ужасного, возможно, все шло по заранее начертанному пути. Не исключено, что именно на этом пути ждало его счастье: в следующем году ему должны были дать самостоятельную партию, он был бы самым молодым начальником партии в институте, он получил бы полную самостоятельность, а что могло быть лучше самостоятельности? Может быть, думал он, лежа в приятной истоме, его судьба и просто рядом, может быть ее зовут Катя, красивая Катя, он представил себе, как они станут мужем и женой, ее налитое молодостью тело. Руки у нее огрубелые, шершавые, но ласковость и нежность уже угадывались в ней, в ней он никогда бы не разочаровался. Нет вернее жен, чем такие вот тихие поморочки, для изыскателя это вовсе не маловажно, значит, это будет Катя... Катя. Значит, это будет Катя, значит, его стезя определилась, они нарожают дюжину детей, Катя будет готовить пироги с моршкой – где

в городе она возьмет морошку? – он будет уходить в экспедиции, уходить и возвращаться. Он будет хорошим мужем и хорошим начальником партии; последнее он мог утверждать вполне определенно, – это было бы его потолком, он был бы вечным начальником партии, в тридцать и сорок лет, и в пятьдесят. Никем другим в изыскательских партиях стать нельзя, ибо начальник партии подобен господу богу, который есть начало и конец всего.

И тут он понял, что это *не его* путь. Этот путь был слишком прост и доступен и, следовательно, не для него. Бедная Катя! Она все еще сидела над тетрадкой, она думала о нем, о Сычеве, он нравился ей, она, конечно, пошла бы за него замуж, но пока она думала о нем, глядя в чистую страницу, все было кончено. Судьба простерла над этими двоими свою руку и развела их. Нет, не быть им вместе, никогда не быть, никогда ему не обнимать ее крепко сбитое, ладное тело, они даже не успели поцеловаться, как все было кончено.

Это была последняя изыскательская партия Сычева, он решил переменить течение своей жизни. Вернувшись, он уволился из института, с изысканиями было покончено. Достаточно широкий профиль позволил ему быстро освоить инженерно-проектные работы, дороги требовались не только в отдаленных районах, страна строилась, стройки высились и росли во всех ее концах. Росли города, улицы были теми же дорогами, специалист-изыскатель быстро разобравшись в вертикальной планировке городов, время шло и приносило с собой все что полагается; из инженера он стал старшим инженером, тут подвернулась возможность, и он вступил в кооператив, залез по уши в долги. Размышлять было некогда, работа от зари до зари, через два года он рассчитался с долгами, еще через год его сделали руководителем транспортной группы. Вся группа состояла из одного Сычева. Но он и один справлялся, он работал быстро и много, и это не утомляло. Никаких особенных дел, не считая стрельбы из лука, у него не было, а стрельбу первое время он не принимал всерьез.

И покатались дни: на работу, с работы, на тренировку, домой; он жил один, годы шли, были какие-то девушки, но то ли он им не подходил, то ли он подходил к ним не так. Он все еще ждал откровения, жизнь все еще походила на спокойную реку, ее налаженное, размеренное течение успокаивало, усыпляло, время обтекало его, протекало мимо, не принося никаких изменений. Иногда ему снилась дорога, уходящая в лес, или рыжее болото, все в красных каплях перезрелой клюквы, иногда ему снилась Катя. Поводов роптать на судьбу он был решительно лишен. Да он и не роптал, ибо был человеком справедливым. Он имел все, чего он заслужил, пока в этот прекрасный, в этот нерабочий субботний день, полностью свободный от каких-либо обязанностей, он не оказался вдруг перед витриной рыбного магазина и не подумал о том, что, пожалуй, не мешало бы установить, а зачем существует на свете некий Сычев и есть ли в нем нечто особенное, свое, что необходимо для чьей-нибудь жизнедеятельности. Пока что все, что он делал, могло быть сделано любым другим человеком. Пока что он, Сычев, не был индивидуализирован как личность, в любой точке жизни он мог быть заменен другим человеком – изыскателем или инженером; он был винтиком, он был каплей. То, что он был каплей, пережить он еще мог, но то, что капля была безлика...

Будь такая попытка произведена однажды, думал он, и покажи она, что нет в нем, в Сычеве, ничего, что жизненно необходимо кому-то, – что ж, это было бы тяжело, но справедливо. Но беда была в том, что никто не мог проделать такого опыта. И выходило так, что он теперь до конца своих дней обречен заниматься разработкой проектов организации транспорта. Было ли это плохо? Отнюдь. Было плохо только ему самому: ведь ежели он сел не в свой поезд – на ком была вина и кого он мог винить? Снова возвращались его сомнения. Он испытал их однажды, лежа на печке, – теперь печки не было, тогда ему было всего двадцать восемь лет. Профессию можно менять один раз или два, но то, что можно в двадцать восемь, нельзя в тридцать три. И все же сомнения оставались. Ему хотелось бы понять, зачем он... ах, как ему хотелось бы это понять!

Нет, он не роптал.

Он только хотел понять – вот и все. Самое трудное для него было – примириться с заданной ограниченностью его существования.

И Сычев испытывал горечь и досаду, он чувствовал себя не столько обиженным, сколько виноватым, хоть вины за собой не знал.

И тут уже совершенно понятно, что ничто не могло служить ему в этот миг утешением: ни гирлянды дивного янтаря, нежно мерцавшие в витринах ювелирного магазина, ни красивая девушка, томно стоявшая в дверях парикмахерской с высоким спортивного вида парнем в потрясающей изящно-грубой кожаной мотоциклетной куртке, – ничто не могло заставить его забыть ту обиду, то чувство несправедливости, которое он испытал, стоя у витрины рыбного магазина, когда снова – после того случая на печке, где это произошло с ним впервые, – снова возник перед ним вопрос о его, Сычева, внутреннем предназначении. О том, насколько оправдана и необходима его жизнь, исходя из доказательств, которые могли быть представлены им на сегодняшний день.

Возле пивного бара «Уголок» бурлил водоворот. Радостная толпа ввинчивалась в огромные двери фирменного колбасного магазина. Сычев шел, весь в невятной обиде на свою судьбу и на себя, он шел вождельной дорогой свободы, вокруг бурлила жизнь. Солнце поднималось все выше, воздух согревался, в воздухе висел многозвучный гомон огромного проспекта, двигались машины всевозможных видов и размеров, людской поток то обгонял его, то с силою прибою устремлялся навстречу; громко кричали продавцы, на необозримом протяжении проспекта раскинувшие свои лотки. Удивительно ли, что обида не могла долго владеть им, она улетучивалась, испарялась, как эфир из бутылки, которую забыли закрыть, постепенно он успокаивался, и вместе с обидой исчезали в его душе сожаление и горечь.

Это было разумно. Миллионы людей вокруг него жили спокойной мирной жизнью, а такая нормальная человеческая жизнь – уже прекрасна, и об этом следует помнить, без этого мы с трудом с. могли бы объяснить смысл наших дел.

Да, жизнь прекрасна, хотя бывает и так, что ее и просто хорошей не назовешь: никто не понимал этого так хорошо, как некий грек, философ и музыкант Орфей; старая история, древняя, как мир. Он отправился в преисподнюю, в царство душ, за своей Эвридикой, чтобы из вечного покоя вернуть ее в полный боли и страданий мир. Им двигала любовь – это вы хотите сказать, да? Но здесь ничто не противоречит общему тезису: да, да, любовь двигала несчастным Орфеем.

Он пел: «Потерял я Эвридику...» Да, именно любовь, только что же это такое – любовь? Ведь это и есть самое убедительное, самое совершенное доказательство того, что земная наша жизнь непреходяще прекрасна; зачем иначе было бы претерпевать столько трудностей на пути возвращения к ней?

Нет, не легкомыслие было виною, что Сычев в этот день так быстро забыл все свои огорчения. Сама жизнь распорядилась им. И в тот момент, когда он остановился у будки чистильщика обуви, он уже не чувствовал себя несчастным, – все-таки он был оптимистом по натуре, хотя вопрос об избранности и предназначенности все еще оставался открытым.

#### 4

Будка чистильщика была открытой. Она была стеклянной. Может быть, это была и не будка вовсе, а террариум или особого вида клетка, стеклянный параллелограмм с открытой дверцей. Внутри и в самом деле томила диковинная птица. Старый ассириец сидел там, глаза его были полужакрыты, взгляд обращен внутрь. За ним в тесноте стеклянного террариума таились тысячелетия истории. Кровь его давно остыла. Не было ничего в этой жизни, чего бы он не знал, удивить его тоже не могло ничто. И никто не мог бы сказать, что значит его обращенный внутрь взгляд. Возможно, он оплакивал смерть Ассурбанипала, гибель Ниневии, быть

может он ожидал прихода ангела смерти. Сычев мог предполагать все что ему было угодно, он принадлежал к молодой нации, кровь бежала в нем быстро и подстрекала к любопытству. Он и вообще был любопытен, далеко еще не утратил интереса к жизни. Он зашел в стеклянную клетку.

Старый ассириец даже не пошевелился. Похоже, подумал Сычев, он еще вчера знал о том, что произойдет, возможно, он уже не отличает одного человека от другого. Сколько ему лет, думал Сычев, неужели этот старик всю жизнь чистит обувь? Это был классический чистильщик. Его профессия была столь же вечной, как и сама история, и ни века, ни социальные катаклизмы не были властны над ней. Вполне можно было представить этого старика, с его выпуклыми темно-фиолетовыми глазами и толстыми коричневыми пальцами, поросшими колечками белой шерсти, сидящим где-нибудь в Древнем Риме и предлагающим свои услуги легионерам Помпея.

И не только в Риме, потому что люди всегда носили на ногах что-то, нуждавшееся в чистке, пыли и грязи хватало тоже, всегда был избыток грязи, следовательно, где бы ни представить его, он всегда оставался самим собой. «И не от этого ли, – думал Сычев, – не от сознания ли того, что не так уж много профессий могут похвалиться тем же, происходило его спокойствие и его величавость? Или они имели какое-то другое происхождение?»

«А может быть, – думал Сычев, – все обстоит гораздо проще. Может быть, для того, чтобы не чувствовать себя ущемленным, человеку достаточно просто быть мастером своего дела?»

Дорого дал бы Сычев, чтобы узнать, о чем думал чистильщик в ту минуту, когда он впери вдумчивый, все еще наполовину обращенный в себя взгляд – в поверхность покрытых пылью туфель. Если только он думал вообще. Какие образы всплывали в его воображении? Но нет, Сычев не мог этого понять. Но и того, что он увидел, было достаточно. Он видел уже такие взгляды: землекопы смотрели так на землю, где надо было вырыть котлован, строитель так смотрел на кирпич, из которого придется выкладывать стену, токарь – на заготовку: человек сначала продельвает всю работу в уме. А может, это и есть тот самый признак, который можно по-настоящему считать человеческим: думать, прежде чем приступить к делу?

Итак, о чем думал потомок некогда могущественного народа, Сычеву не дано было узнать. Но он видел человека, полного достоинства; человек живет во второй половине двадцатого века: торжество физики, лазеры, черная икра из нефти, синхрофазотрон, век технического прогресса, престиж профессий, а человек сидит и чистит чужую обувь, снимает пыль, счищает грязь, наводит блеск... Чистильщик сапог – анахронизм, пережиток, нонсенс, скоро эта профессия исчезнет, но он полон достоинства – откуда и почему?

И тут-то, в этом самом месте, Сычев ощутил некий толчок. Мысль, звук, неосторожный жест, легкое дуновение ветра – и вот уже маленький камешек покатился с горы. Все начинается с этого толчка и с этого маленького камешка, что тихонько катится с горы, а в конце концов вызывает обвал со всеми его последствиями, ущерб от которых даже приблизительно нельзя предугадать. Это в конце. Но интереснее всего именно начало, ибо в нем-то и заключена вся последующая опасность. Даже легкого внутреннего сотрясения достаточно, а порой даже звука голоса или слабого порыва ветра.

Таким вот порывом ветра, таким слабым, почти неосязаемым толчком была для Сычева эта встреча. Она была случайна, но случайность была обусловлена какой-то необходимостью; тысячи камешков катятся с горы, но не каждый вызывает обвал. Сычев встречался с сотнями людей, но понадобилась эта встреча, понадобилось, чтобы он зашел в стеклянную клетку. «На кого он похож? – мучительно думал Сычев. – Я видел это лицо, я понимаю, это абсурд, и все же я его видел». И тут он вспомнил, где он видел это лицо. Ну конечно, он был похож на апостола Петра с одной из кранаховских гравюр. Похож? Да это было просто одно лицо. Но что роднило их больше чисто внешнего сходства – апостола Петра, разглядывающего ключи от райских врат, и старика в стеклянной клетке, проводящего по темно-шоколадной коже сморщенным

коричневым пальцем, – это выражение лица. Вот что делало их до удивления похожими: лицо каждого из них было задумчивым, оно было полно внимания к внутренним, никому, кроме них, не слышным голосам.

Смущенный сидел Сычев на низенькой скамейке, низ штанины был у него аккуратно подвернут. Низко наклонившись к туфле, темнокожий старик бормотал что-то на никому не понятном языке, его мысли, неведомые Сычеву, текли своим чередом, а Сычев думал о том, что он не ощущает, нет, совсем не ощущает никакой социальной разницы между собой – пусть он был всего лишь руководителем транспортной группы – и этим человеком, который в данную секунду обматывал себе тряпкой указательный палец.

Но ведь разница, различие в положениях должно было быть, и он должен был его ощущать. Он должен был чувствовать, что стоит неизмеримо выше: он, черт возьми, принадлежал к техническому потенциалу страны, он должен был стоять больше уже по одному тому, сколько денег стоило его обучение, он должен был чувствовать свое превосходство хотя бы потому, что общераспространенное мнение приписывает образованию самодовлеющую ценность...

Но он не чувствовал никакого превосходства, а наоборот – смущение. И робость. Перед ним был неизвестный мир. Перед ним была дверь, ведущая в этот мир. И человек из этого, закрытого для него мира был полон чувства собственного достоинства. Сычеву приходилось видеть людей, гораздо более преуспевших с точки зрения обывателя, но достоинством от них и не пахло. Он сам не всегда мог похвалиться этим чувством. Перед ним была загадка, и он хотел ее разгадать. Что должно произойти, чтобы человек стал чистильщиком сапог? Ведь никто как будто не рекламирует особенно этой специальности, о ней не упоминают самые дотошные анкеты социологов, даже самая нерасторопная растяпа-калькировщица и то – в ее понятии – стоит многими ступенями выше.

Сычев жаждал ответа. Перед ним был человек, он жил в том же городе, что Сычев, ходил по тем же улицам, дышал одним воздухом, читал одни и те же газеты, одни и те же сигналы по радио пробуждали их, диктор желал им спокойной ночи, человек уходил на работу, садился в стеклянную клетку, сидел и чистил обувь, день за днем, изо дня в день. Завтракал и обедал, где-то строились города и домны, где-то перекрывались реки, газеты сообщали о посадке на Луну. «Человек вышел в космос», – сообщали газеты. «Президент Кеннеди убит в Далласе». «Президент Никсон прибыл в Москву»... Завтрак и обед. Прийти домой и лечь спать, и видеть сны... И видеть сны?

Неужели этот старый ассириец видел сны? Что снилось ему ночами, из каких далей он возвращался и в какие дали уходил? Жалел ли он об упущенных возможностях хотя бы, – ведь жизнь его могла быть совсем иной, но не стала, она уже прожита, он мог бы стать учителем, врачом, дипломатом. «Сегодня министерство иностранных дел устроило прием в честь...». Он мог стать посланником, это в его честь устраивали бы приемы. «На приеме присутствовали...» — он мог бы присутствовать на приемах, решать вопросы внешней политики, он мог бы стать ученым – «Новое блестящее достижение советской науки...» – это было бы его достижение, он мог бы стать инженером, артистом, военным, он мог бы...

Он не стал.

Не могло быть, чтобы он не думал об этом, человек не может не думать о возможных вариантах, о том, кем он мог стать и кем он стал, сопоставлять и анализировать, делать выводы. Итог всегда перед нами, итог показывает, что человек остался чистильщиком сапог, и непреложность этого факта, подобный итог прожитой жизни должен бы убивать... если только...

...Если только все это не есть следствие свободно осознанного выбора.

Вот он, ключ. Вот откуда это спокойствие и достоинство. Сычев бросил взгляд вниз, он посмотрел вокруг с той высоты, которой он достиг на сегодняшний день, и увидел, сколь мизерна была эта высота. Теперь он и высотой-то мог назвать ее только условно, для того лишь, чтобы еще понятнее была ее бросающаяся в глаза мнимость, – да, понятна еще отчетливей и



безнадежней, чем при взгляде вверх. Все смешалось, высота исчезла, то, что он считал высотой, было лишь фикцией, миражем, игрой воображения. Они стояли плечом к плечу, ступень одного отличалась от ступени другого на некоторую мнимую величину; так вот почему он не чувствовал никакого различия; его просто не было, они были равны друг другу, а над ними в недоступной взору вышине скрывались ступени, ступени, ступени...

Нет, и это еще не было столь жданным откровением, еще нет. Но вот эти мысли, еще не додуманные до конца, что тогда зародились в его голове, и были тем самым маленьким камешком, который только-только тронулся с места и катился себе, совершенно безвредный, по пологому склону, один, совсем один – пока что. Но только пока что, до поры до времени, в чем и самому Сычеву, и всем, кто его знал, предстояло вскоре убедиться.

## 5

Он идет по Летнему саду в сплошной черной тени деревьев. Деревьям сто лет, деревьям сто пятьдесят, мраморным изваяниям двести лет, светлый, чуть потускневший от времени мрамор, аллегорические фигуры. Искусство и Мореплавание, Архитектура и Геометрия, мраморные бюсты, императоры и полководцы, Нерон, Клавдий, Тиберий, Агриппина, мать Нерона, сладострастная распутница – ее честолюбие стоило ей жизни, она была убита своим сыном, – Ян Собесский, Калигула; музы и богини – их бедра слишком тяжеловаты, они ставят под сомнение легендарную красоту древних представительниц прекрасного пола; похищение сабинянок; Флора, Летний дворец, Кофейный домик, парусиновый тент над открытым кафе, мороженщицы со своим холодным товаром, смесь сугубо реального с возвышенным и отвлеченным. В этом саду легко, как, пожалуй, нигде, уживаются крайности, вызванные к жизни различными эпохами и разными культурами, и это настраивает Сычева на странный, фантастический и в то же время несколько легкомысленный лад.

Что-то часто он предавался фантазиям последнее время. Слишком часто. Не к добру это было, не к добру. Ему, Сычеву, фантазии казались явлением более низкого порядка, чем знания, это был гарнир к мясному блюду, гарнир улучшал вкус мяса, но самостоятельного значения не имел. Знания составляли основу жизни, а фантазии лишь показывали недостаток знаний, они были игрой воображения, не получившего реальной пищи. Время для приобретения прочных систематизированных знаний Сычев потерял, он получил техническое образование, сумму технологических навыков и сведений, но он был некультурен, и это причиняло ему каждодневные страдания. Его необразованность была бездонным болотом, куда он по мере сил бросал камешки отрывочных знаний, случайность их была сравнима лишь с их разнообразием: история и философия, литература и живопись – странный, неудобоваримый конгломерат, совершенно несъедобная смесь разрозненных фактов, не связанных между собой. Сычев никогда не переоценивал питательности этой смеси, надеяться ему было не на что – разве что на время и на крепкий желудок. Желудок у него был луженым, и он набивал его чем только мог и когда только мог. Большинство поглощенных им сведений были ему совершенно бесполезны, применить их в практических целях не предвиделось никакой возможности, но он был полон любопытства. Он верил, что любой шаг, сделанный в сторону знания, открывает ему новые, утопающие в необозримой дали перспективы; он был в душе идеалист и романтик.

И, оказавшись в фантастически реальном саду, он мог, если хотел, поиграть в странную игру. Здесь, в саду, все вокруг располагало его к игре, и если бы ему очень захотелось, он мог бы перекинуть мостик из второй половины двадцатого нашего века в глубь веков. Так он и поступил. Он понесся в двенадцатый век, он шел по саду в центре большого современного города, шел Шервудским лесом и пел на придуманный им самим мотив песенку о знаменитом разбойнике и великом стрелке из лука Робине Гуде, который тоже некогда жил в зеленых Шервудских лесах.

Вспоминаете ли вы о Робине, вспоминаем ли мы все о Робине, о Робине Гуде? Вы – вспоминаете? Нет? А вы ведь так любили его в детстве. Ну а Сычев – он помнил о нем все время. «Робин, – пел он, – веселый Робин». Не выглядит ли это странно, не воображает ли Сычев бог знает что? С чего это взрослый человек тридцати с лишним лет распелся вдруг, словно влюбленный щегол? Доведись Сычеву услышать такое, он пожал бы плечами – не без горечи, впрочем. Вы любите свою жену, а вы – «Двойное золотое» в пивном баре «У заставы»; наша любовь необъяснима, чувство это иррационально. Так ответил бы Сычев вчера и позавчера, возможно, и сегодня он ответил бы так же – до встречи с чистильщиком.

Но после этой встречи, оставив за собой право пожать плечами, он, возможно, ответил бы иначе. Любовь к Робину Гуду объяснению поддавалась; сегодня он знал больше о чувствах, которые он испытывал, – может быть, он любил его за то, что Робин стоял на земле, не поднимаясь и не делая даже попыток подняться на мнимозначительную высоту (совсем как сам Сычев), и весело, с достоинством, как и подобает свободному человеку, творил посильное добро. Зеленая трава была у него под ногами, синее небо над головой, он хотел справедливости, а большего он не хотел. Человек с чувством собственного достоинства, творящий добро, – образец достойного человека, не меняющийся с годами и тысячелетиями. Вряд ли он думал о последующих поколениях, вряд ли он был честолюбив. Сычев был честолюбив, но творить добро не мог. Или не знал, как это делается, а вот Робин – тот знал. И что же?

А вот что: он остался. Был он или не был, жил или не жил, он остался в истории. История – единственный судья, единственная инстанция, выносящая приговор, не поддающийся отмене, признала его достойным остаться в памяти последующих поколений. Забыты многие короли и папы, князья мирские и князья небесные, пророки, и архангелы, и полководцы – из тех, кто поскромней, – а он остался, веселый разбойник. Он не давал в обиду тех, кто слаб, наверняка он был изрядный плут, наверное, за ним водилось немало грехов – больших и малых, но он был человек, который понял необходимость добра. Ну а кроме того, он еще умел стрелять из лука... И вот тут-то никто не понимал Робина так, как Сычев, и нам, никогда не сгибавшим лука, тоже не понять его до конца, – не понять, что значит убить королевского оленя стрелой за пятьсот шагов, нет.

Фантазии, фантазии. Сычев, кажется, презирал их. Но вот вам результат, показывающий, что от воображения, опирающегося на знания, до чистейшей фантазмагии – один лишь шаг: Сычев увлекся, и вот уже нет Сычева, Робин Гуд идет по Шервудскому лесу, торопясь в Ноттингем, Робин Гуд осторожно крадется среди столетних деревьев, и некому уже идти утром в понедельник в проектный институт «Гипроград». (Газеты выйдут с заголовками: *«Таинственное исчезновение руководителя транспортной группы»*, Сычев станет героем дня, вспомнят о летающих блюдцах, инопланетяне будут обвиняться во всех смертных грехах, отдел кадров вычеркнет его из своих списков и впишет его должность у входа в рубрике «ТРЕБУЮТСЯ».)

Фантазии? Не бог весть какие. Их извиняет – если они вообще нуждаются в извинении – лишь то, что в действительности они нередко скрашивали жизнь некоего руководителя транспортной группы, позволяя ему, когда с честью, а когда и просто без большого урона, выходить из некоторых щекотливых ситуаций. Стоило только совершить такую невидимую глазу подмену, и на вопрос главного транспортника института отвечал уже не Сычев, сбежавший с очередного занудного заседания транспортной секции в Доме научно-технической пропаганды, а ни в чем не повинный Робин, который озирался в этом бумажном лесу со вполне понятным недоумением. А виновник подмены в это самое время как ни в чем не бывало шел себе в зеленом своем наряде, сжимая в левой руке прямой английский лук с тетивой из крученой оленьей жилы, и, посвистывая, напевал:

Двенадцать месяцев в году,  
Их дюжина, считай,

Но веселее всех других  
Весенний месяц май.<sup>2</sup>

Вот что он делал в это время – и тут ему уже абсолютно безразличен был и Дом технической пропаганды, и аспирантура, куда неумолимой рукой подталкивал его главный транспортник. Зачем нужна была аспирантура вольному стрелку из лука? Зеленый лес был ему милее бумажного, этот лес был настоящий, живой, в колчане у него было две дюжины стрел с отточенным стальным наконечником, пробивающим любую шкуру, даже если она сплетена из стальных кружков. Так было с Робинем, так было с Сычевым, он бежал из заколдованного бумажного леса, это уже не было фантазией, у него тоже был свой лук и стрелы. Другой лук и другие стрелы, он не смог бы попасть стрелой в цель на пятьсот шагов, среди его друзей не было монахов, и грабить им не приходилось. Но друзья у него были по всей необъятной стране, они тоже стреляли из лука: никогда не переводились люди, понимающие толк в старинном вольном занятии, и в разных концах света разные люди только и ждали, пока пропоет труба и они выйдут на просторный луг, на зеленую траву, станут плечом к плечу под высоким голубым небом.

В минуту опасности ты уходишь в этот спасительный мир, а потом, когда гроза пройдет, ты вернешься обратно как ни в чем не бывало. Это незаметное исчезновение и возвращение не раз и не два помогали ему избегать неприятностей. ведь во время этих неприятных разговоров он просто отсутствовал, его не было. И это было еще одной причиной, по которой Сычев все время помнил о своем патроне и покровителе, веселом и метком стрелке. Что касается меткости, таких вершин ему не достичь; однако что за беда, здесь нет оснований отчаиваться. Утешение же окончательное принесла ему философия. Философ жил в стародавние времена, он любил человечество, которое об этом не догадывалось, человеколюбие всегда было опасно, ибо всегда находились люди, подозрительно относящиеся к чужому человеколюбию. Такое положение наводило философа на грустные размышления, а это привело к тому, что он прослыл мизантропом. И однажды он написал слова, которые Сычев выбил бы на своем гербе, будь у него герб, или вышел бы на знамени, будь у него знамя.

«Презрения достоин не тот человек, – писал философ, – кто не достиг цели, а тот, кто к ней не стремился».

Теперь мы уже знаем чуть больше о Сычеве – вот он идет по парку, фантазер и поклонник французской философии; дай ему волю – он и взаправду убежал бы в зеленый Шервудский лес, словно нет на земле других достойных мест. Вот город – огромный и прекрасный, вот широкая река, железная арка моста соединяет ее пологие берега, легко возносясь над поверхностью сине-серой воды. Вот прекрасный вид, открывающийся взору с вершины железной арки: прямо и слева – шпиль, золотой меч, вонзившийся в небеса, из синей и серой воды вырастают безмолвные стены старинной крепости. Чуть поодаль – маленький горбатый мостик через уходящую вдаль кривую протоку, мостик со старинными фонарями, столбы в виде ликторских прутьев, к столбам прибиты щиты, на каждом щите – голова Горгоны, голова гневно смотрит на прохожих, не имеющих о ней никакого представления.

И правда – кого сейчас может интересовать какая-то Горгона!

Другое дело – хорошенькие ножки. Хорошенькие ножки спешат впереди по уже упомянутому горбату мостику через протоку, стройные прямые ножки, перечеркнутые – и довольно высоко – скромной темной юбкой, которая, в свою очередь, так удачно сочетается с темно-вишневым вельветовым жакетом. Это вам не Горгона, не какая-то там выдуманная Медуза. Это совсем другое дело, тем более что оно имеет к нашему повествованию совершенно прямое отношение: при виде этих ножек, при звуке дробы, выбиваемой острыми и – увы – не совсем по луде высокими каблучками, Сычев встrepенулcя и прибавил шаг. Острые каблучки просту-

<sup>2</sup> «Робин Гуд и вдова», народная баллада, перевод Игнатия Ивановского.

чали по дощатому настилу, затем звук прекратился, каблучки увязли в песке, густо насыпанном у входа в ворота, в воротах – тень и прохлада, каблучки застучали было по каменным плиткам – и остановились, эхо гулко отдалось вверх гнусавым голосом Сычева: «Сии ворота были воздвигнуты в тысяча семьсот сороковом году иждивением ее величества...» – голос звучал особенно богомерзко и противно под высоким каменным сводом, затем голос изменился, гнусавость сменилась торжественной напыщенностью: «А теперь, товарищи экскурсанты, взгляните налево...»

И тут показался свет. Зеленые с редкими коричневыми крапинками глаза (давно уже минуло и едва ли не забылось совсем то время, когда мельком, на бегу впервые успел он заметить этот необычный цвет набегающей морской волны) глянули на него с тем странным выражением, которое он никак не мог определить словами и которое ему так нравилось.

– Господи, – сказала она, – господи, веселый Робин, как же ты меня напугал.

Ничто не могло так подкупить, как эти слова. «Веселый Робин», – сказала она. Он лишь однажды обмолвился ей про зеленый Шервудский лес, а она сразу, словно иначе и быть не могло, поняла его и все, что стояло за этими словами, приняла всерьез, словно иначе и быть не могло. Вот какая она была, обладательница стройных ножек, – но, конечно, не только ножки были у нее, было у нее и имя – Елена Николаевна, из тех, похоже, Елен, из-за которых время от времени случаются троянские войны. Ввиду упразднения царских должностей современная Елена работала экскурсоводом музея Петропавловской крепости – этой вот самой, где ее и увидел – ах, как давно все же это было! – Сычев, увидел на бегу, мельком, в окружении смуглых людей в шитых золотом тюбетейках и полосатых восточных халатах. Только потом он подумал, что и это не было случайностью, Елены всегда были связаны с Азией, Парис был азиатским принцем, он прибыл из Трои за обещанной ему наградой. Он не знал тогда, чем это кончится, на нем вполне могла быть роскошная азиатская одежда, – уж не носил ли он полосатого халата и тюбетейки, или, может быть, он предпочитал тюрбан? Так или иначе, более близкое знакомство с Еленой не пошло ему впрок – вечная история, не приносящая добра. И всегда в ней так или иначе замешаны женщины и фрукты, в основном яблоки: женщины сами не свои до яблок и восточных принцев. Надо быть настороже, надо бежать, едва увидишь, как женщина протягивает руку к ветке. Ах, Робин, что за обвинения? Яблоки и женщины – а она здесь при чем? Сычев-то знал, что к чему, – его за Париса принять было трудно, расположением богов он заручиться не успел. Вот он и старался всю.

– Яблоки, – с сомнением сказал он. – Вы правы. Некоторые специалисты по Ветхому завету утверждают, что это были абрикосы. Или апельсины – точно не установлено.

«Это тоже – про Елену?» Оказалось, что речь идет о некоей Еве, которая, правда, была из той же породы. Очень, очень интересно. И все же она ни при чем. А он и говорит – конечно, ни при чем. Поэтому и следует все начать с начала. Сейчас, говорит он, сейчас мы начнем все с начала. Где Парис, где бесчестный соблазнитель-профессионал? Его нет. Яблок или иных плодов, могущих послужить поводом для раздора, – тоже нет, что же касается тщеславных женщин, с которыми при одном только упоминании о яблоках может произойти все что угодно, то ведь, – и тут он пригнулся, взгляд налево, взгляд направо, хитрая bestия и проныра из проныр, которого не проведешь, – женщин ведь тоже нет вокруг. Верно, Балтазар?

– Ну, Робин, – только и сказала она, она уже смеялась, – Балтазар! Это придет же в голову.

Но ему только и надо было – смутить, ошеломить, отвлечь и завладеть вниманием; неважно как, неважно, при помощи чего; признаться, он изрядно робел. Для вольного стрелка, для отчаянного храбреца это было довольно странно, только ведь он робел – и все, только и мог он спастись, что в скороговорке, и тут он понес околесицу про Балтазара. Он-же был и остается Робин, а вот она теперь Балтазар, – неужели она не слышала о нем? Ну как же, Балтазар Косса, будущий папа Иоанн Двадцать третий, авантюрист и пират, хитрец и смельчак – пробы ставить негде, она не шутит, она и вправду не слышала? Ах, какая история, ей это

будет интересно, пусть это будет как игра: Балтазар и Робин встретились как-то на крепостном валу... Откуда он знает – зачем, так просто, совершенно случайно, может быть шли на работу, встретились, и тут он, Робин, говорит: ах, Балтазар, ах, мой милый, как я рад тебя видеть, – Тут сердце у него сжалось, и только потом, когда отлегло, он перевел дух. – Ну, вот – вы тоже рады, дружище Балтазар, приди в мои объятия... – И тут он ее обнял, закрутил и завертел, небо над головой крутилось и вертелось тоже, медом пахли ее волосы, медом была она сама, и медом были ее губы, до которых он дотронулся как бы случайно: дотронулся и отпрянул, словно его ожгло. А дальше повел себя как ни в чем не бывало, взял ее руку в свою и стал легонько гладить эту узкую руку, рука была прохладной и сухой, узкое обручальное кольцо он даже сразу не заметил.

– Балтазар, дружище, – говорил он, – пойдем, пойдем же.

Ему трудно было скрыть настораживающее смущение под выбранной им наспех маской, он все не мог забыть, он все думал о прошедшем обжигающем миге, запах меда преследовал его. К нему примешивался чистый запах только что скошенной травы, эта женщина была зеленым лугом. Голубое небо над головой все еще продолжало вертеться, он пытался убедить себя, что ничего особенного не произошло и не происходит, и поцелуй (впрочем, что это был за поцелуй, – дуновение ветра, – непонятно, был он или его не было), и это поглаживание, эта рука, которую он не согласился бы выпустить из своей ни за какие блага... Елена Николаевна посмотрела на Сычева и поинтересовалась вскользь:

– Что бы это все значило, Робин?

Никакой обиды – это показывало дружеское обращение в конце, весь упор был перенесен на суть вопроса. Не исключено было, что вопрошающий обращался как бы сам к себе: что бы это все значило? И нежное поглаживание руки, и этот весьма сомнительный Балтазар Косса, и поцелуй, который она предпочла считать несостоявшимся; неизвестно было, как следует принимать всю эту внезапную и подозрительную игру, во всем чувствовался какой-то лихорадочный умысел, словно ей под видом искушения преподнесли нечто испытующее, что-то здесь было нечисто, и она хотела знать – что же.

– Отвечайте, – сказала она.

Пришлось повиноваться и повиниться.

Конечно, он разгадан, признал Сычев, он был низвергнут с высот романтики на землю, он снова стал самим собой, о Робине не могло уже быть и речи – он разгадан, его попутал лукавый, он кается, он полон смирения – она, Елена Николаевна, со свойственной ей проницательностью, конечно, это видит...

Он думал, что отвергнется этим, но она потребовала – дальше.

Подвохи. Каверзы. Сплошная военная хитрость, принялся перечислять грешник. А что прикажете делать? Только хитрость и может помочь. Даже Парису пришлось подождать, пока муж Елены пошел поплавать в бассейн, он тоже применил хитрость, Менелай бежал в чем мать родила через весь город, а корабль с Парисом и Еленой только и виден был еще на горизонте, не более того, а ведь он, Сычев, не Парис...

– Дальше.

– Обман. Принять личину святой простоты, усыпить бдительность, окружить прелестную цель посягательств неким отвлекающим подобием безопасности, скрывать вопиющую дерзновенность поползновений под фамильярной, шутовской развязностью и тем самым в самый короткий срок перескочить несколько ступеней, отделяющих друг от друга, благо их остается еще немало.

– А затем?

– О, коварство мужчины, взирающего на женщину, вообще не имеет пределов, – заверил Сычев; это было сказано достаточно дерзко и вместе с тем уклончиво, он был настороже, он не

хотел рисковать и готов был в любую минуту превратить с таким трудом возведенное строение в руины. – Вам, как Елене, об этом говорить не надо.

Во всем, что он говорил, как бы не смея поднять глаз, в этом его сокрушенном раскаянье было так много настоящего тепла, так много простодушного лукавства, что, смеясь над ним, она вовсе упускала ту часть этой несколько неожиданной исповеди, которая могла оказаться чистой правдой.

– Ладно, – проговорила она, – я прощаю вас. – И протянула покаявшемуся хитрецу освобожденную было руку. Поскольку он сам раскрыл свои козни, она надеется, что его раскаяние было столь же искренним, каким должен быть обуревающий его стыд («Как бы не так», – подумал он), она его прощает... И тут какая-то новая нотка, прозвучавшая в ее голосе, заставила Сычева поднять голову.

– Что случилось? – спросил он и понял, что упустил какой-то момент: что-то изменилось, в глазах Елены Николаевны было это что-то – отчаяние? грусть? тревога? – А ведь вам не весело, – сказал он.

– Да, – сказала Елена Николаевна; это «да» звучало как откровенность за откровенность, она таила это «да» в себе, вероятно оно не должно было вырваться. Теперь Елена Николаевна смотрела на Сычева подозрительно, даже хмуро, считая, быть может, что одним своим словом сказала слишком много, но Сычев уже не шутил. Эта минута доверия была итогом его трудов, он молчал, он молча сочувствовал, он соболезнавал всей душой, и она улыбнулась ему, но улыбка была вялой и не обманула его. – Да, – повторила она, ей невесело, она, пожалуй, сказала бы, что ей совсем не весело, а Сычев смотрел и смотрел на нее, и пауза, которой было заполнено это молчание, приблизила их друг к другу больше, чем это могли сделать любые слова.

Ей было невесело. Она никогда прежде не говорила с ним о себе, она никогда не говорила с ним о своих делах, и, конечно, она никогда не говорила с ним о муже, было бы странно, если бы она говорила с Сычевым о своем муже, он не знал о муже Елены Николаевны вообще и, уж конечно, не знал о его докторской диссертации; он защитил ее уже год назад, позавчера пришло утверждение из ВАКа, и в тот же день новоиспеченный доктор наук напомнил своей жене старинный договор. Договор заключался давно, доктор только-только стал тогда кандидатом, но уже он метил высоко, он глядел вперед, он прозревал будущее, в будущем у него должна была быть прелестная жена, которая должна будет в свое время сидеть дома и обеспечивать его дому надлежащее реноме; да – и вот тогда-то она сможет, если у нее не пропадет желание, завести ребенка. Она уже забыла про тот разговор, прошло столько лет, она, по правде говоря, никогда не принимала его всерьез. Ее муж все принимал всерьез, ибо серьезность была его отличительной чертой. Он был чертовски серьезен, он был красив, он занимался альпинизмом, он любил свою науку, он много работал, он очень любил Елену Николаевну, и она его очень любила. Да и как его можно было не любить: он был идеальный мужчина и идеальный партнер по браку. Он даже не возражал, чтобы она теперь завела ребенка. Ребенок – это было серьезно, это был серьезный вопрос, к нему нельзя было подойти, так сказать, эмпирически, теперь его можно было завести, но ей что-то уже не хотелось, ей не хотелось заводить ребенка, как заводят собачку или кошку, она так его хотела, но что-то перегорело в ней, и она уже не хотела ничего. Но ведь это было несерьезно. Так или иначе, разговор состоялся, или, точнее, был возобновлен, а еще точнее – продолжен, отныне она была женой доктора технических наук, и она шла увольняться с работы. Что она сказала Сычеву из всего этого, о чем умолчала – она не могла об этом вспомнить позднее, а он не говорил ей. Он понял главное, главным же было восстановленное доверие: о большем он и не мечтал. И тут она спросила его с каким-то вызовом: что ж, он так и намерен продержат ее весь день у ворот? Он, кажется, предлагал куда-то идти? Предлагал или нет, идут они или не идут? Она была напряжена, голос ее звенел.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.